

Человеку, следящему за развитием современной поэзии, не нужно представлять Инну Кабыш. Она работает в литературе давно, сочетая творчество с преподаванием литературы в школе. Сочетание достаточно традиционное и вполне понятное. Очень важно, что учительство вовсе не является для Инны только «работой», необходимостью находить средства для существования. Преподавание литературы – ее жизнь, ее участь, ее судьба и ее счастье. Характерно, что с годами творчество Кабыш не тускнеет, а обретает все новые и новые краски.

Художник глубоко, даже, может быть, слишком социальный, тонко чувствующий взаимоотношения людей, она давно нашла в поэзии свою стезю. Один из поэтов «либерального» лагеря, присутствующий на авторском вечере Инны в доме-музее Булата Окуджавы в июле этого года, правильно отметил, что она опирается не только на классическую, но и на советскую поэзию, в то время как творчество друзей этого поэта и его самого во многом предполагает полное и насильственное отчуждение от всего «советского».

Эти слова, к которым я полностью присоединяюсь, совсем далеки от политики. Здесь речь идет о традициях, которые мы не в силах отрицать. Даже если очень хотим этого.

Инна необычайно живой и интересный человек. Она рассекает на велосипеде по дорожкам Переделкинского дачного поселка, купается в холодном и грязном Самаринском пруду, по-прежнему живет в мало приспособленном для обитания старом корпусе Переделкина, напоминающем в последние годы рабоче общежитие, и регулярно собирает своих друзей на творческие вечера в музее Окуджавы.

А в этом году она была удостоена престижной Ахматовской премии!

Успехов тебе, Инна!

Евгений ЭРАСТОВ, член Союза писателей России, Нижний Новгород

* * *

Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно – не то что куда-то ехать, хороший мой, когда по утрам за окном до того темно... короче, нашей отечественной зимой,

когда я со всеми вместе иду к метро
и в сумке бездонной моей вся война, весь мир,
все слёзы мира, всё зло его, всё добро –
и йогурт, а иногда кефир,

когда я штурмом, как крепость, беру вагон,
где глупо держаться и трудно порой дышать,
где я засыпаю стоя и вижу сон,
где ты не ушёл и где живы отец и мать,

где все до того близки мне – со всех сторон,
что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, –
я вдруг понимаю, что я – это, в общем, он,
прости за пафос, имея в виду народ.

И если меня не грохнули в тридцать пять,
и если я не повесилась в сорок семь,
то надо дальше как-нибудь доживать
не чтоб назло или на радость всем.

А просто – проехали – всё – не вернёшь билет –
и с каждым годом светлее моя печаль,
и смысла теперь умирать никакого нет,
поскольку старых, их никому не жаль.

* * *

У меня, как у всех, нынче есть свой email,
Нынче есть, как у каждой собаки, мобила.
Но кто письма писал, тот теперь онемел,
И ушел, кто звонил и кого я любила.
И уходит день за день земля из-под ног,
мои дети уходят – свои и чужие.
Только вскрикнешь по-бабьи: «Куда ты, сынок?..»
А они все идут – все такие большие.
Даже буквы срываются нынче с листа
И летят словно клин, а потом –
словно точка...
Я стою на ветру, я совсем сирота,
одиночка ли мать, капитанская ль дочка,
хоть горшком назови, хоть совком –
не боюсь:
я как мертвый, который не ведает сраму.
...А ночами мне снится Советский Союз,
тот,
где мама моя моет вечную раму.

* * *

У, Москва, калита татарская:
и послушлива, да хитра,
сучий хвост, борода боярская,
сваха, пьяненькая с утра.

Полуцарская – полуханская,
полугород – полусело,
разношерстная моя, хамская:
зла, как зверь, да красна зело.
Мать родная, подруга ситная,
долгорукая, что твой князь,
как пиявица ненасытная:
хрясь! – и Новгород сломлен – хрясь! –
всё ее – от Курил до Вильнюса –
эк, разъела себе бока! –
то-то Питер пред ней подвинулся:
да уж, мать моя, широка!
Верит каждому бесу на слово –
и не верит чужим слезам:
Магдалина, Катюша Маслова,
вся открытая небесам.
И Земле. Потому – столичная,
то есть общая, как котел.
Моя бедная, моя личная,
мой роддом, мой дурдом, мой стол.
...Богоданная, как зарница,
рукотворная, как звезда,
дорогая моя столица,
золотая моя орда.

* * *

Уходишь – так уходи.
И не жалея меня.
Дел ещё – пруд пруди:
остановить коня. . .
Душу ты мне не рви,
да ещё в такую жару!
Я не умру от любви.
я вообще не умру.

* * *

Учебой ли, в тимуровцы игрой
охвачена, – была я всюду первой.
Отличницей. Общественницей. Стервой.
Меня не научили быть второй.
Остановить бы тройку на скаку,
спросить: «Куда, родимая, несешься?..»
Что первенством от смерти не спасешься,
я знаю. Чем спасешься – не секу.
Переборов ребяческую прыть,
живу неспешно, то есть драматично,
предпочитая не демократично,
а царственно решать, куда мне плыть.
...И мне уже не страшно быть второй.
И пятой. И десятой. И последней.
Да может, тот бессмертней, кто бесследней,
и тот первой, кто замыкает строй.

* * *

Это небо набухло, как вымя,
и висит над моей головой,
и по-волчьи хотела бы выть я,
и чтоб кто-нибудь слышал мой вой.
Эх ты, родина, горе-злосчастье,
ты в кого уродилась такой?
И за домом – сплошное ненастье,
и в дому – лишь один непокой,
и в душе . . .
Но об этом уж слишком –
лучше я о душе помолчу:
не понять ни умом,
ни умишком
этот замысел.
Эту свечу.